Василий Белый. ИЗ «КНИГИ О ЗАБАЛКЕ»

 МОЙ ПЕРВЫЙ ПОХОД…

А первым моим длительным – не просто «за толоку», а далеким, с ночевками, а главное, в самое голодное время, ранним летом 47-го года, причем, без моего согласия и даже какого-то предупреждения, просто мама сказала: «Надо», -- был поход, вернее поездка, как мне говорили, на лысые горы. «За морковкой»…

Помню, мама «прибежала» раньше обычного с базара, и он был, скорое всего, неудачным для нее – как я понял, она ничего не продала – ни кружева, ни прошвы – не было покупателей. Была этим, естественно, недовольна. И сразу, даже не перекусив, начала сборы – себя и меня. Молча, всего и сказала:

-- Собирайся, Васька, сейчас поедем.

Она взяла мешок, привязала к уголкам дна веревку, сунула туда какую-то мою одежину, захлестнула узлом верх мешка: -- Это на плечо, за спину. Надевай.

Не прошло и четверти часа – а я знал, сколько это? В общем, не успел я и оглянуться, -- как мы уже оказались на улице. С мешком на спине и лопатами в руках. И быстро побежали – лично я, еле успевая за мамой, -- в сторону околицы, на улицу Бойко, называлась она тогда так или иначе, -- я не знаю. На углу нас уже поджидала незнакомая мне пожилая, как я представлял тогда, женщина, тетка.

-- Ну, что ты возишься, Маруська!? – отчитала она сразу маму. Мама что-то тихо пролепетала в ответ, а я – я так сразу невзлюбил эту тетку. Жила она, как я знаю, на этой же улице, ближе к речке, а звали ее, если мне не изменяет память, Васильчучкой, так мне потом сказали. Как по имени и отчеству, я не знаю. Как и то, была ли это ее настоящая фамилия или уличное прозвище? На земле Забалки и такое было.

Сказав друг другу еще что-то, главное, что-то про какую-то машину, что вроде бы должна, тетка и мама «побежали» на выход из станицы, на толоку. Я обиженно поплелся позади. Мешок, посколько он был, считай, пуст, меня не тревожил, а вот лопата – лопата просто мешала. Опираться на нее – с чего бы это, что я – старичок? – было неудобно, просто нести в руке – она же с железным заступом, и тяжелая, и мешает, взять на плечо, как мама или тетка…

Мелькнула, нет, наверное, все-таки проплыла и осталась позади Виноградная улица, стоявшая как бы отдельно от остальной Забалки, пошли остатки виноградника, мы спустились в низинку, где сейчас проходит, грохоча и воняя, объездная, потом еще в одну, у леска поднялись на взгорок – опять справа пошел виноградник, за ним – целый городок – остатки военных окопов и блиндажей, что уходили, поднимаясь, аж к горе, слева проплыло разбитое строение бойни, знакомое нам еще с довоенных лет. Дорога, вильнув влево, побежала под гору, мимо вырубки, потом опять вильнула, уже вправо, вдоль реки…

Я уставал, ноги не шли, пот заливал глаза. И тут нам неожиданно повезло. Уже когда я надумал заныть, попросить отдыха, привала – дорога впереди была не только дальней, я это чувствовал, но и уходила в гору –это-то я просто видел, -- позади нас затарахтела, а потом и загудела какая-то машина. Грузовик. Тетка и мама, отступив в сторону, подняли руки, замахали ими, прося подвезти.

Машина остановилась. После переговоров, весьма недлинных, лопаты полетели в кузов, туда же забрались, кряхтя, и мы. Помню, нас нещадно трясло, колотило, как горох в мешке, и стучало о борт, кузов тарахтел, расхристанный на ухабах, но мы ехали. И это было главным.

Где водитель и командир – он сидел в кабине и курил, -- подобрали нас, не скажу, не помню. Знаю только, что шли мы долго, я чертовски устал, взмок от пота и, главное, успел натереть ногу. А вот доехали мы, как потом мне припоминается, очень быстро. Хотя, когда машина, переехав небольшую речку, остановилась в Шапсугской, уже был вечер. Солнца, что всю пешую часть пути пекло, видно не было.

Машина потарахтела, клацая железяками, как зубами, дальше. а мы пошли к «хозяйке», как сказала тетка, прямо тут же, на берегу речки. «В гости», как опять же сказала тетка. Хотелось есть, и чем-то вкусно пахло.

Хата, куда мы пришли, была полуразрушена, но мы этого – навидались на разруху и в Абинской, -- не замечали, а хозяйку, что встретила и как-то очень приветливо, вроде бы даже радуясь, захлопотала вокруг нас, как видно, вообще не беспокоило.

Единственно, что я еще помню из этого дня, так это то, что хозяйка напоила меня водой и угостила сдобной и пышной, теплой еще, прямо горячей – словно только со сковороды, а, может быть, так оно и было? – булкой, со словами: «Кушай, деточка, голодный, небось, поправляйся, отдыхай», поглаживая меня по коротко остриженным волосам. Булка была странной, просто необыкновенной – она послушно приминалась под пальцами и на зубах, но, отпущенная – неважно, рукой или зубами, -- тут же снова принимала пышный вид. Словно была она не из теста, а из резины. И была несказанно, просто сказочно вкусной. Может, потому, что была моей первой в этот , уже кончающийся день, пищей? Кто знает? А еще, еще помню, быстро, просто удивительно быстро, прямо на глазах, темнело. Потом мне скажут, что это потому, что кругом горы. А, может, и потому, что уставший, наевшийся, я был внезапно сморен сном. И сон принял за ночь. Потом мне скажут, что я спал крепко и даже подскуливал.

Разбудили меня ни свет, ни заря. Было впечатление, что я только-только уснул, только «заплющил» глаза, как говорили забалчанцы. Просыпаться не хотелось совсем, но мама строго -- откуда только эта строгость в ее голосе? – сказала: «Надо». Пришлось вставать. Только после того, как я сполоснул лицо, «пыку», как, опять-таки, говорили забалчанцы, зачерпнув воды из бочки, я немного увидел мир вокруг. Во дворе стоял полумрак, над речкой – туман, и только верхушки деревьев на западной горе были освещены.

Позже я узнаю, что в горах всегда так; солнце освещает горы, а в ущелье или просто в низинке долго еще прячется сумрак, остаток ночи – до тех пор, пока прямые солнечные лучи его не прогонят, «не съедят», говорили забалчанцы.

Двор мы покидали в полумраке, вместе с нами тремя шла еще одна женщина, сестра или дочка хозяйки – показать дорогу, как нам сказали. Станица просыпалась, возле далеко – ну, точно, как у нас, на Забалке, -- стоящих друг от друга хат скорее слышалось, чем виднелось движение, кое-где над трубой поднимался – а вот это мы видели, -- дымок. В основном над летними, во дворе, кухнями, у нас их звали «кабыцями», скорое всего, в Шапсугской – тоже так.

Перейдя вброд -- где вода на удивление была теплой, -- речку --- уже другую, потом мне скажут, что ночевали мы на берегу Шапарки, а эту, другую, звали Адегойкой, -- мы пошли, как мне казалось, на запад. Потом, уже во взрослые годы, пройдя много раз по этой дороге – а что это была именно та, еще военная, подтверждали остатки бревенчатых гатей во многих местах, -- я никогда не встречал здесь прямых, длинных участков дороги. А тогда, тогда мне на всю жизнь запомнилась та дорога – она уходила, прямая, как струна, в бесконечность, или мне просто так казалось? Она была покрыта толстым-толстым слоем мелко, в порошок, истертой земли, скорее даже просто пыли, холодной после ночи и тяжелой, как цемент, в которой буквально вязли, «грузли», как говорили забалчанцы, мои тяжелые «колеса» -- чувяки, хотя это неверно – чувяками забалчанцы звали легкую, мягкую обувь, -- в ней очень удобно идти по тропе, -- на мне же были, даже не знаю, как их и назвать, сандалии – так нет, ботинки – ну, какие это ботинки, скорее всего, это вот что, точно: башмаки. Тапки из кирзового верха на подошве, вырезанной из автомобильной шины – в таких пол -Абинской ходило. Сами тяжелые, как гири, они буквально прилипали к дорожной пыли, идти, утопая в ней, в них казалось, было невозможно. Но мы шли, и я в том числе. Я, естественно, далеко позади, «в хвосте», как говорили забалчанцы…

Давала мне о себе знать и вчерашняя натертость. Хоть она вроде бы и «загоилась», как говорили забалчанцы, хоть я и подложил под пятку что-то вроде стельки, ну чтоб натертость не касалась края башмака, она все-таки, нет-нет да и касалась, от чего мне хотелось прямо-таки выть. Приходилось идти, не поднимая высоко ноги, не вытаскивать башмаки из пыли, а как бы тянуть их.

Волоча ноги по «пылюке», как говорили забалчанцы, -- «вылитый каторжанин», сказала тетка, -- я изредка бросал свой туманный взгляд по сторонам. Несмотря на пот, заливающий глаза, и больную ногу, я видел прямо у дороги богатый будущий урожай – во мне уже креп характер добытчика лесных даров. Зеленел кизил, оттягивая гибкие ветки, в аккуратных, щегольских манжетах, прячась, наливались лесные орехи, попадался то там, то тут боярышник, начинали белеть – и их было много! -- кислицы и груши. Если бы это было рядом с Забалкой, «сразу за толокой», как бы радовался и «застолблял» бы я эти места, «которые надо знать», и которые я только что узнал. Но я знал другое: это даже не Шапсугская, это уже «за», сюда нам, тем более без мамы, не добраться, а потому я просто провожал сожалеющим глазом богатства, и все. И все чаще думал, злясь, о башмаках. Понятное дело – правда, понятным оно стало потом, многие годы спустя, -- башмаки не вязли, не «грузли» и не липли к пыли, просто она – толстая или глубокая, как вам угодно, жирная да еще и холодная, -- нам мешала идти, словно бы не пускала нас в горы. Хорошо помню такую деталь: капли росы на ней катались, не впитываясь, как ртуть.

А потом дорога кончилась; вернее, она не кончилась, она пошла дальше, на Кабардинку, как узнал я потом, а мы, мы повернули в сторону – вот в какую, убей бог, не помню, -- вслед за тропой, и пошли по ней, поднимаясь все выше и выше.

Солнце, естественно, давно уже «съело» сумрак везде, оно было высоко, припекало крепко, а идти было еще хуже, чем по дороге. Подъем вроде был и не крут, но длинен, приходилось почти постоянно хвататься за кустарник, тапки, несмотря на их автомобильный протектор, иногда скользили, и очень хотелось пить. Раньше, когда проходили рядом с речкой, пить почему-то не хотелось, но стоило уйти в сторону – нет «спасу», как говорили забалчанцы, так хочется. А идти – наоборот, нет никакой охоты. Если бы кто объявил привал, я сразу же бы сел и закрыл глаза – так устал. Но, увы, привала не было, все упрямо шли вверх, на «лысые горы», как сказала тетка. Сказала два слова и снова замолкла… Молчали и другие: мама, наша проводница.

Наконец, мы вылезли на «лысые горы». Я понял об этом по тому, что все вдруг заговорили наперебой, а ведь молчали, как немые, а главное – остановились и стали, кинув наземь лопаты, сбрасывать с себя мешки. А еще, еще стало неожиданно свободно и очень приятно -- тянул легкий, а главное – прохладный ветер. Как называлась гора, на которую мы взобрались, я не знаю и не знал, но что она была фигурально и физически лысая, это точно: на ней не было не только деревьев, но и кустарника. Куда ни глянь, только где-то далеко от нас волновалась какая-то серо-серебристая трава, мягкая и нежная даже на вид. Это был, как я узнаю спустя годы, ковыль.

-- Вон море, -- сказала вдруг провожатая. – Видите, синеет. Я люблю смотреть. Скоро поеду туда, работать…

Расслышав, наконец, что где-то есть море, и что его видать – от перепада высоты у меня, как узнал я потом, видимо, притупился слух, его «заложило» или, как говорили забалчанцы, «заклало», -- я завертел головой во все стороны. Но моря так, мне кажется, я и не увидел, а, может, и не понял: откуда я знал, какое оно здесь, в горах? Потом, уже взрослым, увлекаясь туризмом, я не раз видел его с высоты, знаю, каким оно оттуда кажется. Скажу прямо: именно таким – далеким и бесконечным. Но тогда… Я, что, видел его вообще, не говоря уже о горах? А тут и мама: «Хватит разглядывать, насмотришься еще, давай копай…»

И я закачался, буквально закачался взад-вперед на лопате – земля была – чистый камень, железо, тупясь и даже зазубриваясь, только ковыряло, «шкрябало», как говорили забалчанцы, поверхность планеты, но не копало. Ковырял я эту «морковку» – плод действительно напоминал по форме морковь, а вот по цвету был почти белый, -- без особого успеха. Как мог.

Так прошло несколько часов. Я, да и все остальные тоже, рыли урожай так. Поковыряв, сколько хватало сил и терпения, лопатой, потом отбрасывали ее в сторону и, ломая ногти и обдирая пальцы, копали землю, разгребая ее, и тянули плод из почвы уже руками, бросая затем то, что добудут, в мешок.

Скажу сразу и прямо: нас просто спасал ветерок. Если бы его не было, нам бы, точно, была «хана», как говорили забалчанцы. Нас бы – пожалуй, всех, -- или хватил солнечный удар, или мы истекли бы соленым – я никогда не думал, что он может быть именно таким солеными и едким,-- потом.

Время от времени – по-моему, это было крайне редко, мама потом, уже дома, скажет, что отдыхали мы слишком часто, -- все мы, когда все сразу, а когда каждый по себе, наковырявшись лопатой, а потом и руками, ползая по камням на коленках, -- бессильно падали на задницу, отдыхая. А поскольку женщины подхватывались раньше – им почему-то хватало всего лишь передохнуть, -- а мне всегда трех минут было мало – ну, устал я! – мой мешок наполнялся очень неохотно, как-то очень уж медленно-медленно. И если в первое время у меня еще возникало иногда желание нет-нет да и взглянуть: где же там море, какое оно, в самом деле? - то потом и желание пропало. И когда женщины вдруг сказали, прежде всего проводница, что: «Все, пора идти, сколько накопали, то и наше», я, закинув мешок, продев в лямки руки, на спину, и , взяв лопату, даже не взглянул в сторону моря. Видимо, знал: еще, действительно, нагляжусь. Мама угадала.

Когда пошли вниз, невольно подумалось: на сегодня – хватит. Жизнь распорядилась иначе. Впереди было еще много чего интересного.

Когда мы, хватаясь руками за кусты, уже не для того, чтобы подтянуться, а чтобы задержаться, тормозя, словно нам ну совсем не хотелось спускаться, обеими ногами, а временами и этой, как ее там, пятой точкой – недавно я узнал, что так ведут себя, спускаясь по лестнице, коровы и лошади, но мы-то ведь люди! – спустились, наконец, по тропе, кругом была полная мгла. Ночь.

Где же солнце, оно вот только что было, на наших лицах еще ощущается его тепло? «Оно зашло в море», -- сказала нам как-то обреченно наша проводница. Быстро холодало. Нам, пропотевшим на горе и тут, на спуске, – на тропе все время думалось о том, что горы нас держат, не пускают, и хотелось одного – чтобы нас кто-то хорошенько, от души толкнул, -- нам скоро стало зябко и неуютно. И дорогу в темноте мы скорее ощущали, чем видели. Пока из-за гор не поднялась луна. Теперь, когда полная луна бессмысленно пялилась на землю, дорога уходила серо-синеватой лентой вперед, куда идти, мы знали, видели. Одежина понемногу начала согревать, все было путем, кроме одного – ноги двигаться не хотели совсем.

Оказалось, что и не у одного меня. Наша тетка, Васильчучка, -- а, надо признать, ее мешок был наиболее полон, вдруг остановилась – мы, естественно, тоже, -- ловко сбросила мешок со спины, села, вытянув ноги, рядом с ним, -- а мы топчемся рядом, думая, что же будет дальше? -- а она зевнула и говорит: «Дорога, вот она, проводник – рядом, не заблудитесь, идите себе в станицу. А я останусь тут, под грушей – а мы и не знали, что рядом груша! – посплю, а утречком прибегу».

У нас, как в театре (это я узнаю потом) – пауза, а тетка, и правда, достала из мешка платок, умостилась, покряхтела, прикрылась платком и говорит: «Идите, идите, не стойте, меня не ждите, я – посплю… А утречком прибегу, по холодку». И тетка, по-моему, захрапела. Видно, она, как солдат, могла заснуть по команде. А, может, просто устала – она была старше всех.

Мы чуток потоптались на месте, потом, подбросив на спинах, чтоб удобней легли, мешки, пошли – делать-то нечего. Пыль на дороге, наверное, была теплой – день-то только-только закончился, но нашему ходу это никак не способствовало. Ноги, считай, не шли вовсе. К тому же, с легкой руки тетки, ужасно захотелось спать. Казалось, еще сотня-другая шагов, и я тоже, как и она, сброшу мешок, прямо в пыль, даже к дереву придорожному подходить не стану – груша это, дуб или что другое, мне все равно, -- и лягу рядом, свернувшись калачиком!.. Но проходила сотня шагов, другая, третья – мама и наша провожатая, как в трансе, словно околдованные, идут впереди и идут, а следом, еле перебирая ногами, бреду я. Я намечаю ориентир впереди, ставлю задачу – дойти обязательно – и иду – я уже и считал до тысячи, и разглядывал звезды, и петь про себя собирался – все это, наверное, для того только, чтобы не уснуть в пути, -- а они идут себе и идут. Потом я сказал себе: все, хватит…

Но рта раскрыть не успел – позади, вынырнув неизвестно откуда, показалась машина. Мы ее, естественно, не видели, мы видели только пляшущий свет автомобильных фар, надвигающийся на нас. Мы, сойдя с дороги, остановились, я – оперся на лопату, как старичок.

Машина подъехала, стала. Водитель погасил фары, и мы увидели – это был американский «додж три четверти», открытый генеральский автомобиль. Но главное было не в том, что какой-то славный генерал – может, его в машине и не было, даже наверняка не было, -- остановил автомобиль, чтобы ночью подобрать двух женщин и пацана – может, был бы, сразу завел бы разговор: откуда в такое время да кто такие? Главное было в том, что на заднем сиденье, удобно откинувшись на подушки,- чистый генерал! - сидела – собственной персоной, совсем не сонная и отдохнувшая! – тетка, Васильчучка. Вот это был ход! Мы после того, как оставили ее у груши, два часа плелись по пыльной дороге, у нас слипались глаза и заплетались ноги, луна уже смотрит на нас совсем с другой стороны, а она… Нет, сказал я еще тогда себе: эта тетка что-то знает такое, о чем мы и не догадываемся… Жалею -- и, кстати, до сих пор! – только об одном: больше нам с мамой идти куда-нибудь она не предлагала. Никогда. А, может, и предлагала, да мама отказалась, кто знает?

Нас пустили в «додж». Мы – молча! - оценили королевский ход Васильчучки и покатили прямо в Шапсугскую. Больше я о том путешествии не помню ничего. Потом мне уже рассказывали, что я заснул прямо в машине, кое-как выгрузился – не без помощи других, -- на Шапарке, отказался от еды и чая – видно, так и не проснулся, и сразу же завалился спать. Прямо там, где стоял…